
НАСЛЕДИЕ

Статья «Контрсуггестия и история» была впервые опубликована в сборнике «История и психология» (М.: Наука, 1971, с. 7–35). В ней конспективно изложены идеи, которые развернуто представлены в книгах Б. Ф. Поршнева «Социальная психология и история» (1966) и «О начале человеческой истории» (1969б). Последняя в значительно урезанном виде впервые увидела свет в 1974 году, после смерти автора, поскольку вопреки неизбежной в то время «истматовской» риторике его концепция исторического развития не вполне укладывалась в русло догматизированной официальной философии.

Б. Ф. ПОРШНЕВ

КОНТРСУГГЕСТИЯ И ИСТОРИЯ

(Элементарное социально-психологическое явление и его трансформации в развитии человечества)

Выдающийся русский (советский) историк, социолог и психолог, известный специалист по истории Франции, посвятил последние годы своей жизни изучению глобальной эволюции человеческого общества и сознания. В данной статье, впервые опубликованной в 1971 году, он бережно пересмотрел основные тезисы марксистской философии истории. По мнению Поршнева, развитие сознания соотносится с особенностями человеческой коммуникации: склонностью к внушению, жизненной необходимостью противостоять ему (контрсуггестия) и преодолевать сопротивление (контр-контрсуггестия) для эффективного социального контроля и управления поведением.

Ключевые слова: социальная эволюция, коммуникация, культура, внушение, контрсуггестия, контр-контрсуггестия, управление поведением.

Мозг и общество

Жизнь общества, история протекает на основе объективных законов этой формы движения материи. Но существование объективных законов развития человечества, разумеется, не противоре-

чит существованию субъективного мира людей. Истории без субъектов нет. Общественно-исторический процесс – это всегда и во всем единство объективного и субъективного (Кон 1966; Глезерман 1960; Зуев 1969). Основой при этом является объективное, осуществляется же объективное действиями живых людей с их субъективными мотивами действий.

Некоторые историки и социологи полагали, что марксизм требует отвлечения от этой субъективной стороны общественных процессов, сводя «субъективный фактор» в исторических событиях преимущественно к идеологическим и организационным моментам, к наличию или отсутствию зрелой классовой партии в условиях революционной ситуации (более широкую трактовку вопроса см.: Чагин 1968).

Вот отрывок из «Капитала» Маркса, показывающий, насколько глубже должен заглядывать марксист в психологический аспект даже чисто экономических явлений. Не товары отправляются на рынок и обмениваются, пишет Маркс в начале главы «Процесс обмена», а «лица, воля которых распоряжается этими вещами». Обмен – «волевой акт». Он обусловлен признанием людьми друг друга частными собственниками товаров. «Это юридическое отношение, формой которого является договор, – все равно, закреплен ли он законом или нет, – есть волевое отношение, в котором отражается экономическое отношение. Содержание этого юридического, или волевого, отношения дано самим экономическим отношением» (Маркс, Энгельс 1961). Следует ли отсюда, что волевой акт, волевое отношение – лишь несущественная иллюзия? Или, напротив, гуманитарная наука должна со всей углубленностью познать и экономическое отношение, дающее содержание, и необходимую ему правовую форму, и осуществляющее его психическое действие-акт воли? А ведь что такое воля – это пока описано на языке общей психологии, но не описано на языке социальной психологии.

Французский историк и философ Шарль Моразе в предисловии к книге «Логика истории» рассказывает, как некоторое время тому назад он посетил один за другим Ленинград и Чикаго. В Ленинграде в павловском Институте физиологии перед ним раскрылись все величие и важность проникновения науки в деятельность мозга – «инварианта истории». В Чикаго же некоторые видные экономисты убеждали автора в решающем значении «внемозгового» (экстрацеребрального): ведь статистика выявляет процессы, кото-

рые никем не осознаны, надындивидуальны, и именно они объясняют все в истории (Moraze 1967: 24–25). Попутно заметим, что тут вовсе не проходит водораздел двух идеологий, ибо и в США Моразе мог встретить наступающий фронт исследователей мозга, и в СССР – сторонников отстранения всего «церебрального» от изучения истории.

На деле есть и то, и другое объективные явления: и мозг, и общество. Оба вполне материальны. Они расположены на разных уровнях. Но друг без друга они невозможны. «Внемозговое» без механизмов, управляющих поведением каждого человека, следовательно, без учета работы мозга, – это статистическая абстракция, экономический «запечатанный ящик» без плоти. А мозг без этого «внемозгового» – явление анатомо-физиологическое: при таком отвлечении это был бы мозг животного, а не человека. Материальным реле, связывающим каждый отдельный мозг и общество, индивидуальное поведение с социально-экономическим содержанием, служит речь – не лингвистическое понятие языка, а психологическое (или психолингвистическое) понятие речевого общения. Только этот канал связывает воедино обе объективные реальности, только он сам, тоже будучи материальной и объективной реальностью, служит основанием субъективного мира людей. Конечно, при этом мы отбрасываем антропоморфические представления о наличии «языка» и «речи», так же как «общества», у животных.

Информация, фильтр недоверия, инфлюация

Если кибернетика широко распространяет понятие «информация» и на животных, и на машины, то в передаче информации между людьми есть некий специфический фильтр, которого нет у животных и машин и которым кибернетика не занимается. А именно: информация между людьми проходит через фильтр доверия и недоверия. Информация может быть абсолютно истинной и полезной и все-таки остаться не принятой, не пропущенной фильтром. И наоборот, информация может быть ложной и вредной, но принятой в силу открытости для нее шлюза доверия. Содержательную нагрузку несет тут преимущественно негативное понятие недоверия: информацию следует считать принятой, если она не задержана фильтром. Следовательно, с точки зрения теории информации доверие есть всего лишь отсутствие феномена недоверия. Иными

словами, канал информации может быть блокирован явлением недоверия, которое в свою очередь, очевидно, может быть объяснено только тем, что прием информации без этого задерживающего устройства в пределе приносит принимающему ущерб.

Что такое недоверие и доверие, кибернетика не знает. Это относится к социальной психологии, к теории элементарных явлений. Информационными тут подразумеваются две ее формы, несколько отличающиеся друг от друга в человеческой психике: побудительная (приказ, совет, просьба, запрещение, разрешение в отношении тех или иных действий) и констатирующая (информация о фактах). Можно ли их как-либо свести одну к другой? Да, в конечном счете и информация о фактах служит побуждением к тому или иному действию или воздержанию от действий. Следовательно, есть лишь различие между прямой побудительной информацией, в смысле непосредственного побуждения к действию или воздержанию от него, и косвенной, или предварительной, побудительной информацией, где окончательный толчок к действию или воздержанию сохраняется за самим информируемым индивидом, хотя информация о фактах в большей или меньшей мере детерминирует его решение. Естественно, что фильтр недоверия сильнее выражен при первой форме побуждения, чем при второй. Получив инструкцию, указание действовать, мы первым делом вольно или невольно сверяем свою реакцию с выяснением лица того, кто нас побуждает. Представляется возможным рассматривать первую форму как более простую и генетически исходную по отношению к усложненной и производной второй. Суть остается в том, что речь в конечном счете к чему-то побуждает, и если источник речи вызывает настороженность, мы отклоняем идущее от нас побуждение или, по крайней мере, подвергаем это побуждение проверке, тем более критичной, чем сильнее настороженность.

Молодая наука семиотика обоснованно и продуктивно выделила три аспекта, три сферы отношений у знаков человеческой речи: отношение знаков к объектам – семантика; отношение знаков к другим знакам – синтаксис; отношение знаков к людям, к их поведению – прагматика. Все три друг без друга не существуют на деле. Но, говорит основатель семиотики Чарльз Моррис, специалисты по естественным наукам, представители эмпирического знания преимущественно погружены в семантические отношения слов; лин-

гвисты, математики, логики – в структурные, синтаксические отношения; психологи, психопатологи, физиологи – в прагматические (Morris 1936: 51; 1946).

Принято считать, что из этих трех аспектов семиотики наименее абстрактной (а потому и менее волнующей умы) является прагматика. Однако она просто наименее разработана. Примером может служить специально посвященная ей книга немецкого философа Г. Клауса (1967). Дело сводится к довольно внешней систематике воздействия знаков на поведение людей по силе или интенсивности (по их «инициативной адекватности»), согласно терминологии Ч. Морриса), а именно выделяются четыре функции: а) информировать о чем-то, побуждающем к действию; б) производить положительные или отрицательные оценки, воздействующие на поступки информируемого; в) прямо призывать его к тому или иному действию или воздержанию, т. е. непосредственно побуждать; г) систематизировать и организовывать ответное действие информируемого.

Все эти функции, по Моррису и Клаусу, не связаны непосредственно с истинностью или неистинностью знаков: надежность или сила воздействия знака не обязательно соответствует, и в пределе может вовсе не соответствовать, объективной верности, истинности этих знаков. Обе характеристики лежат как бы в разных плоскостях, хотя бы отчасти. На этой основе Клаус разработал описания разных методов воздействия языка на реакции, чувства, поведение, действия людей и классификацию типов или стилей речи: научная, проповедническая, политическая, техническая и др. Однако все это скорее порождает вопрос: а возможна ли, нужна ли такая особая дисциплина, прагматика, в указанных здесь рамках? Она по самому своему положению, как составная часть семиотики, обречена заниматься внешним описанием воздействия знаков речи на поступки людей, не трогая психологических, тем более физиологических, механизмов этого воздействия, следовательно, ограничиваясь формальной систематикой.

Но психолог может пойти дальше – в субстрат «прагматики». Если пересказать круг ее наблюдений на психологическом языке, дело сведется к тому, что с помощью речи люди оказывают не только опосредованное мышлением, но и непосредственное побудительное или тормозящее влияние на действия других. Казалось

бы, это тривиально. А теперь спросим себя: обязательно ли это влияние подразумевает, выражаясь языком физиологии, подкрепление, будь то положительное (удовлетворение какой-нибудь физической потребности, скажем, получение вкусной пищи) или отрицательное (например, боль)? Иными словами, возможно ли влияние совершенно внеконтактное, осуществляющееся на дистанции? Исключим при этом проблему так называемой телепатии, которая нас здесь абсолютно не касается, в частности и потому, что приводимые в литературе наблюдения относятся в подавляющей части к первой сигнальной системе – к трансляции предметных образов, а не слов. Остается, следовательно, вопрос о существовании дистантного и материально не подкрепленного влияния с помощью речи.

Да, такое явление есть, и оно глубочайшим образом присуще второй сигнальной системе. Поэтому-то, кстати, последнюю никак нельзя свести к информативной коммуникации: вторая сигнальная система является также, и прежде всего, инфлюативной коммуникацией, т. е. осуществляющей прямое влияние на реакцию. Прямое влияние (инфлюация) и есть простейшее социально-психологическое явление. Простейшим, элементарным, «клеточкой» оно выступает именно в системе данной науки – социальной психологии, хотя в плане физиологии высшей нервной деятельности анализ его требует разложения на более простые элементы. Можно сказать и обратное – что социальная психология занимается изучением различнейших проявлений влияния людей друг на друга. Это специфическое явление человеческого общения неотделимо от речи. Исходное свойство человеческой речи – выполняемая словом функция внушения (суггестии). Этим уточняется понятие прямого, непосредственного влияния.

Суггестия

Социальная психология различает два типа «заражения»: подражание и внушение (Поршнев 1966; Парыгин 1967). Понятие подражания гораздо шире, и под него подводят подчас не только автоматизм прямого имитирования действий, но и явления, глубоко связанные с сознанием, следовательно, косвенно – и с речью. Понятие внушения (суггестии) однозначное и характеризует лишь совершенно определенную работу слова. В своем чистом виде эта

функция второй сигнальной системы теряется в глубинах отдаленнейшего прошлого человечества. Сейчас его можно наблюдать только в искусственных экспериментальных условиях: в клинике, в лаборатории, в специально созданных обстоятельствах. Внушение (суггестию) можно экспериментально осуществить, во-первых, в гипнотическом, т. е. опять-таки внушенном, сне, во-вторых, в некоторых случаях естественного сна (включения в так называемую гипнопедию – обучение чему-либо во время естественного сна), в-третьих, при некоторых очень специфических нейродинамических обстоятельствах в бодрствующем состоянии.

Характерно, что в онтогенезе, на протяжении жизненного развития индивида, суггестия имеет неизмеримо большую власть над детьми (достигая кульминации в 8–10-летнем возрасте), чем над взрослыми. Столь же симптоматично, что суггестия более властна над группой людей, чем над одиночкой, а также если она исходит от человека, как-то олицетворяющего группу, общество и т. п., или от непосредственных словесных воздействий группы людей (возгласы толпы, хор и т. п.) (Бехтерев 1908; Куликов 1965; Кузьмин 1967: 16; Софин 1970; Шерковин 1969).

Сейчас нам особенно важно подчеркнуть, что эта «клеточка» социальной психологии в обыденной жизни в чистом и изолированном виде не наблюдаема. Экспериментирование с нею остается монополией медицины (психиатрии), и потому научное познание этого феномена, этого атома или, если угодно, этого атомного ядра со скрытыми в нем силами и энергиями происходит медленно и остается односторонним, утилитарным, бедным. Языкознание, семиотика, психолингвистика (психология речевой деятельности и речевого общения) к нему не привлечены. Физиология высшей нервной деятельности человека лишь частично затрагивает суггестию как коренную функцию второй сигнальной системы.

Если вернуться к прагматике, окажется, что именно функция побуждения, «прескрипции» является исходной. Лишь на «втором» ярусе в силу невозможности или нежелания выполнить побуждение появляется вопрос: «Как я должен это сделать?», или вопрос: «Почему я должен (не должен) это сделать?» На второй вопрос более низкий уровень ответа гласит: «Потому что это хорошо (плохо)». Но тогда противодействие может подняться выше: «Почему это хорошо (плохо)?» Более высокий уровень ответа дает инфор-

мацию (дескрипцию), т. е. возможность самому побуждаемому судить о положении вещей и о необходимости действовать или воздержаться от действия. Такова истинная психологическая иерархия обнаруженных Ч. Моррисом в другом порядке четырех прагматических функций знаков (или видов знаков).

Исходный пункт – суггестия. Но изучать суггестию как исходное психическое отношение между людьми в основном приходится косвенным, обходным методом: посредством изучения психической самозащиты личности от ее неограниченного действия. Эту оболочку, окружающую ядро суггестии, мы называем контрсуггестией, и именно о ней преимущественно будет идти речь. Как в физиологии высшей нервной деятельности существует закон обратной индукции возбуждения и торможения, т. е. очаг возбуждения в коре мозга необходимо окружается «валом» торможения, так суггестия, сила прямого влияния слова на психику, индуцирует (хоть и далеко не столь автоматически) ограждение, складывающееся, как увидим, из разных психических механизмов. Выработка этих средств отпора совершается на протяжении всей истории человечества. Именно исследуя их, мы устанавливаем, что суггестия как таковая, в своем чистом виде, должна была некогда иметь автоматический, неодолимый или, как говорят психологи и психиатры, «роковой» характер.

Вот недоверие и есть первый феномен из серии этих охранительных психических антидействий. В состоянии гипноза как раз если не полностью, то в значительной мере отключается работа тех систем мозга, которые могли бы осуществить недоверие. Исследователи проблемы сновидений со своей стороны давно, начиная с Крепелина, заметили, что одним из главных признаков сновидения является отключение недоверия, т. е. полная вера в представляемое (Вольперт 1966). Как всякий знает, в сновидении может возникнуть зачаток критического сомнения: «Не сон ли это?», но оно всегда заканчивается уверенностью в подлинности. Но в более общем виде недоверие как первый рубеж против суггестии может быть сведено к опасению, что нечто внушается человеком чуждым, чужим, и поэтому его влияние следует проверить, сопоставить с другим; иначе говоря, исток недоверия – встреча двух суггестий и тем самым возможность отклонить одну из них.

Мы будем познавать суггестию как элементарное явление социальной психологии по мере того, как раскроем главные формы контрсуггестии, т. е. ее необходимой антитезы. В своей более ранней работе (Поршнев 1965) я называл эти два элементарных явления контагиозностью и негативизмом, но предлагаемые теперь термины, вероятно, строже. Здесь вначале можно дать определение суггестии посредством следующих тождеств. Суггестия в чистом виде тождественна полному доверию к внушаемому содержанию, в первую очередь к внушаемому действию. Это полное доверие в свою очередь тождественно принадлежности обоих участников данного акта или отношения к одному «мы», т. е. к чистой и полной социально-психической общности, не осложненной пересечением с другими общностями, а конструируемой лишь оппозицией по отношению к «они» (Он же 1966; 1968а). Поскольку речь идет о тождестве, закономерна и обратная формулировка: психическая общность («мы») в ее предельном чистом случае – это есть поле суггестии, или абсолютной веры. Отсюда еще одно тождество: полная суггестия, полное доверие, полное «мы» тождественны внелогичности (принципиальной неверифицируемости).

В самом деле, зачем было бы внушать то, что указывают человеку сами объекты, предметы, события? Внушение по определению есть внушение чего-то, что противостоит показаниям и импульсам со стороны первой сигнальной системы (Платонов 1962). Второсигнальная инфлюация в генезе не могла быть не чем иным, как дискриминацией, подавлением первосигнальной информации. Иными словами, абсолютно не нужен наисложнейший аппарат, который подталкивал бы человека сделать то самое, к чему подталкивают его внешние и внутренние ощущения и импульсы, его опыт, логика вещей. Вторая сигнальная система должна была прежде всего подавлять все эти естественные мотивы поведения в индивидуальном организме, иначе нельзя было бы заменить их другими. Следовательно, у порога возникновения второй сигнальной системы, а тем самым и становления человека вообще, лежит появление нового механизма торможения. Это торможение способно останавливать любой двигательный или вегетативный рефлекс, любой акт инстинктивного поведения.

В человеческом мозге гигантская психофизиологическая сила торможения нового типа проходит две фазы: специальные зоны

коры принимают речевые сигналы (другие также производят их), а в высокоразвитых лобных долях эти сигналы претворяются в затормаживание всякой иной активности, кроме заданной по каналам речи и сознания (Лурия, Хомская 1966; Лурия 1963; 1969; Чуприкова 1967). Однако переход от качественно нового механизма торможения любых действий к возможности навязать какие-то определенные действия взамен отмененных – сложный эволюционный переход, совершившийся в антропогенезе, вероятно, где-то на уровне ранних неантропов *Homo sapiens fossilis*. В задачу настоящей статьи не входит анализ того, как именно у наших ископаемых предков возникло это специфическое торможение и как оно развивалось до уровня суггестии, ведь всю проблему можно разделить на две: первая половина – складывание в антропогенезе этого отличительного свойства человеческой психики, этой исходной «клеточки» социально-психических отношений, вторая половина – осложнения этого явления в ходе человеческой истории в связи с появлением и развитием контрсуггестии. Только вторая половина относится к теме данной статьи. Что касается первой, представляющей, пожалуй, особенно большие научные трудности, она рассмотрена в других работах автора (Поршнев 1968б). Здесь можно лишь резюмировать дело в немногих словах.

В общую теорию физиологии высшей нервной деятельности животных автором вводится понятие тормозной доминанты: всякому возбужденному в данный момент центру какой-либо деятельности в мозге соответствует сопряженный с ним центр другой деятельности, который в этот момент глубоко тормозится. Следовательно, обратно, переход этой второй деятельности в положительное, активное состояние должен затормаживать первую деятельность. Далее, при исследовании явления непроизвольной подражательности у животных выяснено, что у ближайших предков человека оно, судя по всему, достигло высочайшей интенсивности. Соединение этих двух физиологических агентов – тормозной доминанты и имитативности – и дало новое качество, а именно возможность, провоцируя подражание, вызывать к жизни «антидействие» на любое действие, т. е. тормозить у другого индивида любое действие без помощи положительного или отрицательного подкрепления и на дистанции. От такого торможения всякой отдельной реакции (действия) еще очень далеко до механизмов универсально-

го торможения. Но в конце концов возникают, с одной стороны, такие сигналы, которые являются стоп-сигналами по отношению не к какому-либо определенному действию, а к любому протекающему в данный момент (интердикция); с другой стороны, развиваются способы торможения не данной деятельности, а деятельности вообще; последнее достижимо лишь посредством резервирования какого-то узкого единственного канала, по которому деятельность может и должна прорваться. Последнее уже есть суггестия. Путь от возникновения указанной специфически человеческой формы торможения к суггестии можно описать такой схемой: раз выработался этот механизм торможения, в принципе оказывается возможным таким же образом тормозить сам тормозящий механизм; но это торможение второй степени в свою очередь может быть тормозимо; для пояснения опишем, хотя и неточно, эти три степени словами «нельзя», «можно», «должно».

Контрсуггестия

Но вот явление суггестии сложилось, *Homo sapiens* начал свой путь, имея это явление как продукт предшествовавшего видообразования, о чем свидетельствуют, например, наличные у него, и только у него, верхние передние формации лобных долей мозга, без которых суггестия немыслима. Но именно когда она налична, как уже сказано выше, она неумолимо влечет у *Homo sapiens*'а то, чего не было у его предков, что делает его человеком и дает ему историю, – контрсуггестию. В самом деле, достигшая своего расцвета в чистом виде суггестия даже с биологической точки зрения таит в себе катастрофу. Столь велика эта сила воздействия одного организма на рефлексы другого, что в принципе она может нарушить течение любых физиологических функций, прервать удовлетворение неотложнейших биологических потребностей, привести к гибели. Раз чистая суггестия по определению противоречит голосу первой сигнальной системы, значит, первый шаг к их будущему согласованию – новое вмешательство торможения, а именно – негативная реакция на суггестию. Физиологи считают негативизм (в том числе негативизм в отношении словесного воздействия) явлением, сводимым к ультрапарадоксальному состоянию (Долин 1962). «Голод делает людей несговорчивыми», – доносили представители провинциальной администрации в Париж по поводу мас-

совых народных движений XVII в. Это значит, что кричащая биологическая ситуация в какой-то мере взламывает принудительную силу слов. А сколько раз описала художественная литература, как голос пола взламывал внушающую силу воздействия родителей и среды! Контрсуггестия и становится непосредственно психологическим механизмом осуществления всех и всяческих изменений в истории, порождаемых не зовом биологической самообороны, а объективной жизнью общества, противоречиями и антагонизмом экономических и других отношений. Мы рассматриваем здесь не причины, приводившие людей в разных исторических условиях к срыву принуждающей силы слова (изучение этих причин лежит в другой плоскости, особенно в плоскости экономической истории), а сам психологический механизм негативной реакции на суггестию, который усиливался в ходе истории и посредством которого история менялась. Оскар Уайльд бросил парадокс: «Непокорность, с точки зрения всякого, кто знает историю, есть основная добродетель человека. Благодаря непокорности стал возможен прогресс, – благодаря непокорности и мятежу». В этом афоризме сквозит истина, по крайней мере для всякого, кто действительно знает историю. А ее знал уже Гегель и поэтому тоже говорил, что движение истории осуществляет ее «дурная сторона», «порочное начало» – неповиновение. С точки зрения эволюции психики надлежит сказать точнее: вся история людей есть разное сочетание повиновения и неповиновения, послушания и непослушания, покорности и непокорности. Христианин вложит в это один смысл (человек перед лицом заповедей и представителей Бога), материалист – совсем иной. Но только материалисту удастся научно расчленить обе эти доли на элементы, поддающиеся анализу и объяснению. Здесь пролегал принципиальное отличие развиваемой в данной работе социально-психологической теории от предшествовавших попыток как будто бы и сходного направления мысли. Дюркгейм и Лебон, Михайловский и Бехтерев видели в принудительном механизме влияния, внушения, суггестии глубокий, нижний слой генезиса коллективных представлений и коллективных действий. Это было замечательным проникновением в недра социальной психологии, неизмеримо более продуктивным, чем эгоцентризм, т. е. выведение множественного числа из единственного, окружение индивида «полем» его симпатий и антипатий в духе

Д. Морено или К. Левина. Конечно же, «отношение», «зависимость» (суггестия) первичнее, материальнее, чем «внутренний мир» одиночки. Но нужно сделать важный, кардинальный шаг вперед: подняться от суггестии к контрсуггестии. Это тоже «отношение». Оно-то и рождает «внутренний мир». Психическая независимость достигается противодействием зависимости.

Суггестия не исчезает в ходе истории – она наблюдается в видоизменениях по мере роста и усложнения контрсуггестии. Что еще важнее, сама контрсуггестия выступает в истории не только как простое отрицание послушания людским словам, но все более в виде ограничения послушания разными условиями. Послушание загоняется в строгую, жесткую форму. Если восточная вежливость еще в средние века гласила: «слышать – значит повиноваться», то здесь уже подразумевалось, что ты слышишь слова кого-то вышестоящего, облеченного авторитетом. Чем далее, тем более историческое становление самого человека отвергает эту прямую зависимость. «нет, – говорит хоть чуть разившийся человек, – слышать – это еще не значит повиноваться». На уровне современной психики даваемое нам поручение нередко вызывает в первое мгновение слабую эмоциональную реакцию раздражения (ибо вторгается в нашу программу) и лишь потом осмысливается как подлежащее исполнению или отклонению по таким-то резонам. С ходом истории чем дальше, тем больше – человеку стало недостаточно и различать, чьему слову безоговорочно повиноваться, а чьему – нет. Он хочет, чтобы слова ему были понятны не только в своей внушающей что-либо части, но и в мотивационной, т. е. он спрашивает, почему и зачем, и только при выполнении этого условия включает обратно отключенный на время рубильник суггестии. Он проверяет логичность внушаемого ему представления, мнения, действия, в том числе по закону достаточного основания, и только не сумев найти нарушения правил, включает этот рубильник. Но это значит, что генеральная линия развития человеческих психических отношений состоит в лимитировании внушения формой, которую все справедливо считают противоположностью внушения убеждением. Однако это лишь предельная тенденция, к которой в конечном счете движется психическая история. На деле контрсуггестия началась в истории с гораздо более элементарных защитных и негативных реакций на суггестию. Пожалуй, самая первичная из них

в восходящем ряду – уклониться от слышания и видения того или тех, кто форсирует суггестию в межиндивидуальном общении. Это значит – уйти, удалиться.

Один из первых фактов истории *Homo sapiens'a* – это его быстрое расселение по материкам и архипелагам земного шара. Первые 15 (может быть, 20) тысяч лет нашей истории – это история нашего расселения, нашего рассеяния. По сравнению с темпами расселения любого другого животного вида на земле эта дисперсия человечества по своей скорости может быть уподоблена взрыву, буре. Сила ее была так велика, что за этот с биологической точки зрения кратчайший миг люди преодолели такие расстояния, такие экологические перепады, такие водные и прочие препятствия, каких ни один животный вид вообще никогда не мог преодолеть. Людей раскидало по планете нечто специфически человеческое. Невозможно свести этот акт к тому, что людям не доставало кормовой базы на прежних местах: ведь другие виды животных остались и питаются на своих древних ареалах нередко и до наших дней – корма хватает. Нельзя сказать, что люди расселялись из худших географических условий в лучшие, – факты показывают, что имело место и противоположное (Левин и др. 1951). Им не стало «тесно» в хозяйственном смысле, ибо общая численность человечества в ту пору (в каменном веке) была невелика. Им, скорее, стало тесно в смысле появления и развития бремени межиндивидуального давления. Судя по тому, что расселение вида *Homo sapiens* происходило в особенности по водным путям – не только по великим рекам, но и по океанским течениям, – люди искали отрыва сразу на недостижимую дистанцию, передвигались же очень малыми группами или даже поодиночке (на бревне, на группе бревен). Во всей последующей истории индивидуальные или коллективные отселения и переселения как на необжитые окраины, так и в другую среду были важным фактором социальной жизни. Но все же с ходом тысячелетий, с освоением ойкумены действенность простого побега все понижалась. Люди должны были оставаться в соседстве с людьми.

Вероятно, в полном соответствии с этой кривой происходило рождение неизмеримо более специфических для человека средств контрсуггестии. Если невозможно вовсе не слышать звуков речи, можно их не понимать, не принимать, перекрыть фильтром. В част-

ности, психолог может предложить именно такую гипотезу глоттогонии – происхождения множественности языков. Как известно, в лингвистике издревле существуют две противоположные модели: Н. Я. Марр описывал их как пирамиду, стоящую на вершине, т. е. начинающуюся с общего праязыка, понемногу разветвляющегося; и как пирамиду, стоящую на основании, т. е. начинающуюся с великого множества соседствующих языков (по С. П. Толстову, «первобытная лингвистическая непрерывность»), которые затем, скрещиваясь, расходясь и снова скрещиваясь, укрупняются и в перспективе движутся к единству. В этом вековечном споре, возможно, правы обе спорящие стороны: процесс мог идти в глубинах предистории по первой модели, чтобы позже уступить место второй. Однако и первую модель невозможно понимать в смысле классического сравнительного языкознания: если вначале еще не было множественности языков, то вместе с тем это не был еще и язык, это была лишь некоторая психофизиологическая фаза на пути становления человеческой речи – фаза суггестии. Язык же – это уже обязательно данный язык в его отличии от другого или других, посредством этого отличия он и складывался как язык, а тем самым – и как сфера непонимания для иноязычных (возможно, через промежуточное звено или пограничное явление билингвизма).

Непонимание прикрывает человека от суггестии. При этом непонимание наиболее радикально на уровне фонологическом, когда невозможны вообще восприятие и репродукция слова, а без этого не может быть акта внушения. Следовательно, здесь контрсуггестия состоит как бы в фонологической глухоте по отношению ко всем другим способам произносить что-либо, кроме узко ограниченного способа своих ближних. Правда, сила внушения последних при этом, может быть, даже возрастает, так что следующая ступень контрсуггестии потребует уже снова приобщения к чужим звукам, чтобы взаимно нейтрализовать разные суггестии. Непонимание может пролегать позже уже не на фонологическом уровне, а на лексическом, синтаксическом и логическом уровнях. Но это относится уже не только к истории языков (глоттогонии), но и к истории развития мышления. Прежде чем говорить о последнем, отметим неизмеримо более примитивный, но исключительно важный психологический механизм контрсуггестии внутри данной системы фонологически вполне дифференцируемой и воспринимаемой ре-

чи. Если первое звено восприятия чужой речи – это ее беззвучное и быстрое внутреннее проговаривание, то отсюда импульс может быть передан как на пути суггестии (внушение действия), так и в «полуподвальный» этаж, где производится очень своеобразная интенсивная операция отрицания этой работы, воспроизводящей речь. А именно мозг человека разламывает на куски, деформирует, фрагментирует слова. Например, часть букв заменяется фонологически противоположными (так называемая литеральная парафазия). Если слова и воспроизводятся на этом этаже внутренней речи, то не целиком, а лишь отдельными опорными элементами, например от слова может остаться буква или слог, от предложения – сказуемое или его часть (Соколов 1968). Но деструкция носит и конструирующий характер. Во-первых, разрушенное в воспринимаемой речи, не повторенное механически, восполняется уже несловесными образами и схемами. Во-вторых, отпор принудительному автоматизму повторения слов (эхолалии) приобретает активный характер в виде перестановки или замены слов. Эта психическая операция издалека начинает подготавливать возможность превращения эхолалии и суггестии в нечто иное – в ответ!

Но сначала внутренняя речь уходит еще на один этаж вниз, в подвал. Здесь словесная форма сбрасывается вовсе, остаются образы и программы – схемы ответного действия или ответной речи. Можно сказать, что одновременно активная роль перешла от лобной и височной областей мозга к теменной и затылочной. Речь стала умом, по крайней мере в зачатке. Он снова должен облечься в словесную форму, он снова совершает восхождение, выступая сначала как система представлений, выше – как система смыслов, еще выше – как система значений. И вот вместо того, чтобы на звуки слов мозг прореагировал (через шлюз внутреннего повторения) выполнением требуемого действия или возникновением схем действий, образов, представлений, которые сами побудят к действию, он реагирует возражением, исправлением, опровержением! Это значит, что развитие мышления есть основная, генеральная линия контрсуггестии. Однако отметим здесь и другие линии, хотя все они, как увидим, будут лишь дополнять это представление о магистральной линии развития психических механизмов контрсуггестии. Отчетливой негативной реакцией на слова, что-либо требующие, указывающие, объясняющие и т. д., является эмотивная реакция. Сюда

относится, например, ответ смехом. Этнография свидетельствует, что соседний род, соседнюю деревню, соседнее племя высмеивают. Смех, насмешка купируют, обрывают цикл словесной индукции, даже если речь этих соседей вполне понятна, если им не противопоставляется никаких рациональных возражений или упреков. В других случаях столь же сильной эмотивной преградой является страх перед ними – опасение насылаемой ими порчи, колдовства, их общения с нечистой силой; в общем же можно сказать, что чувство страха идет впереди подбираемых к нему задним числом мотивов. Эмоции брезгливости, отвращения, гнева, ярости также в разной степени пресекают цикл речевого влияния, хотя бы опять-таки внутри языковой и этнической общности. Все эти эмотивные реакции существенно ограждают человека от принудительной силы слова со стороны окружающих людей. Следует еще раз подчеркнуть, что в отличие от мыслительной самообороны эти средства контрсуггестии, как правило, слабо мотивированы, держатся на полубессознательных традициях и предрассудках. Они ищут скорее не оснований, а поводов.

С физиологической точки зрения эмотивные реакции связаны с вегетативными и секреторными сдвигами. В головном мозге ими ведают в основном подкорковые отделы. Это говорит о том, что данная группа контрсуггестивных явлений служит как бы попыткой коры человеческого мозга бросить в бой против суггестии глубокие резервы – эволюционно древние образования в центральной нервной системе. Но тем самым оправдан, вероятно, прогноз, что это направление контрсуггестии не слишком продуктивно.

Внутри же тех или иных групп людей, социальных и этнических общностей, самообороны человека от суггестии выливалась в дифференциацию окружающих (родственников, соплеменников, единомышленников, сограждан и пр.) на авторитетных и неавторитетных. Суть этого явления – отказ в полном доверии большинству окружающих людей или даже всем им за вычетом кого-либо одного. И в этом случае, как и во всех других, дело не в том, что человек когда-либо в истории мог бы отказаться от подчинения силе суггестии, – он может ее лишь локализовать, канализировать, ограничить условиями, при удовлетворении которым она все-таки действует с полной и даже особенной силой.

Возникает фильтр недоверия (хотя бы слабый), и, оказывается, это возможно лишь посредством оппозиции, т. е. противопоставления большинству людей кого-то, на кого этот фильтр не распространяется; в пределе, в итоге долгого исторического опыта и отбора, это лицо переносится в потусторонний мир – превращается в божество, что отвечает распространению фильтра недоверия, в принципе, вообще на всех людей. Когда какой-нибудь старейшина рода, вождь племени, глава государства или руководитель церкви получал авторитет, таким способом люди могли отказать в неограниченном доверии множеству остальных. Формирование этих лидеров, или авторитетов, – капитальный показатель формирования контрсуггестии. Пусть слово одного (тем более если он где-то далеко на обширной единойязычной территории) обладает неодолимой силой, если отныне мы не признаем такой силы за словами кого бы то ни было другого. Хотя образование таких моноцентрических систем являлось в истории большим шагом контрсуггестии, в исторической действительности оно парировалось образованием обширного слоя людей, выступавших как бы носителями слов этого авторитета. Но о таких явлениях контр-контрсуггестии речь будет ниже.

Еще один важный фронт развития контрсуггестии в человеческом общении вместе с ходом истории – нарастающая замена личного общения вещными, в том числе денежными, отношениями. Даже по своей организационной норме обмен вещей в первобытном обществе нередко протекал заочно: люди выкладывали предметы обмена в условленном месте, уносили их, заменяя другими, не встречаясь, не подвергаясь и малейшему влиянию. Но еще важнее, что форма обмена (в отличие от дани, ритуального дара и т. п.) с психологической точки зрения означает возможность не отдавать, возможность согласия и несогласия, следовательно, возможность выбора. Человек не отдает, если по его представлению предлагаемое взамен не возмещает отданного в смысле полезности, может быть, почетности, количественного равенства в переводе на денежные единицы, – одним словом, если он не полагает, что, в сущности, и не отдал, скорее выиграл. Таким образом, в экономической истории развитие вещных отношений между людьми – сначала рядом с непосредственно личностными, затем все более вытесняя их – коррелятивно развитию психической функции выбора.

Но функция выбора охватывает не только сферу обмена вещей. Она чем дальше, тем больше в истории характеризует поведение человека как сознательное, самого человека – как личность (Поршнев 1970).

Психический акт выбора очень характерен для контрсуггестии: он является не вообще отказом от реакции, но все же и не подчинением стимулу, отвержением принудительности последнего. Из психологических вариантов контрсуггестии, может быть, нагляднее всего – явление самовнушения. Психологи употребляют выражение «самоприказ», «самоинструкция», «самокоманда». Здесь, как и при операции выбора, необходимой предпосылкой контрсуггестии служит некоторое раздвоение личности. Этот механизм привлекает внимание преимущественно психиатров, когда он приобретает патологическую гипертрофию и инертность. Но в норме он налицо в каждом человеке. Он отвечает тому факту, что человек принадлежит не одной общности. Тем самым индивид может в воображении отвлечься от любой из них, отдаться другой или хоть представить себе, что другая существует. Заменяя внушение самовнушением, человек все равно подчиняет свои действия «как закону» (Маркс, Энгельс 1961: 189) этой воображаемой суггестии – цели, присутствующей в его сознании идеально, пусть никем ему в действительности не продиктованной. Способность выбора и способность целеполагания – двойники, два оттенка того же феномена, глубочайшим образом специфичного для человека. Животное не ставит целей, не имеет среди регуляторов поведения «предвосхищаемого потребного будущего», вопреки воззрениям видных физиологов П. А. Бернштейна и П. К. Анохина, – оно имеет только «потребное прошлое», т. е. стремится воспроизвести то же действие при тех же импульсах, лишь приспособлявая его всякий раз к видоизменившимся в деталях внешним и внутренним обстоятельствам. А работающий, действующий человек имеет будущее-цель и то, что связывает будущее с настоящим: волю в своей психике и служащее ей сродство труда – в своих руках. Целеполагание и воля (рождающиеся из отклонения чужой цели и другой воли) есть барьер против внушения, хотя, с другой стороны, здесь всего лишь его трансформированная форма самовнушения или сознательный выбор между внушениями.

Мы сделали краткий обзор тех главных психологических форм, в которых в жизни людей на протяжении истории выражалась и развивалась контрсуггестия. Как уже было сказано, только изучая эти формы, мы и познаем саму суггестию как исходный субстрат всех психологических отношений между людьми, как элементарное общественно-психологическое явление, с которого историк и социолог должны начинать анализ. Оно наглухо прикрыто от глаз шапкой всяческих видов отказа от автоматического повиновения слову, пока мы эту шапку не сняли, разобрав ее по лоскутам. Но вместе с тем мы убеждаемся, что всякая контрсуггестия не уничтожает суггестию, а лишь загоняет ее в узкие, жесткие ограничения. Ведь вот не можем же мы не понять слов другого, какое бы усилие ни делали, если они соответствуют правилам нашего языка и логики. Это и есть абсолютно, неодолимо принудительная сила суггестии. Мы обязаны понять то, что нам говорят, и реагировать соответствующими представлениями, нам некуда деваться от этой неодолимой необходимости. Следовательно, при соблюдении выработанных в ходе истории условий человек – раб слышимого слова, ибо не может уклониться от его понимания. Точно так же он не может не выполнять всегда хоть какой-нибудь задачи, т. е. не быть подчиненным цели, пусть самой мимолетной, смутной или abortивной. В ходе эволюционного развития человека феномен внушения загнан в клетку, но не убит.

Лучше всего мы сможем, пожалуй, резюмировать психологическую сущность контрсуггестии, если скажем, что она состояла в развитии все более совершенных средств непонимания, непринятия речевых побуждений, в развитии ума. Но это лишь преобразовывало суггестию в гораздо более неодолимую силу на той узко ограниченной колее, которая ей теперь оставлялась.

Контр-контрсуггестия

Теперь мы перейдем к тем социологическим явлениям, которые неустанно направлялись на охрану силы внушения, иначе говоря, которые так же были нацелены против контрсуггестии, как последняя – против суггестии. Поэтому эти явления, если угодно, можно называть контр-контрсуггестией.

Если суггестия – исходная пряжа исторической психологии, если сплетения суггестии и контрсуггестии образуют ее ткань, то

контр-контрсуггестия вышивает уже подлинные исторические узоры на этой канве. Рассмотрим основные формы этого торможения контрсуггестии.

Как в гипнозе повторение внушаемого усиливает эффект, т. е. снимает остатки противодействия внушению, так и в общественной жизни повторность, настаивание – могучее орудие «коллективных представлений». Традиция, обычай, культ, ритуал, всякое заучивание правил, текстов, церемоний, стереотипов, выражения эмоций – все это в истории народов Земли было весьма действенным средством истребить самовольство и самоуправство, т. е. задушить в зародыше негативизм поведения. Жизнь общества пронизана этой репродукцией, в которую новация включается лишь в строго ограниченной мере, допускаемой нормой репродукции. Например, при исполнении такого-то танца или такой-то песни разрешаются некоторые индивидуальные нюансы. Границы стиля жестко лимитируют творчество. Даже в живой речи человек обязан прежде всего строго репродуцировать, повторять заданные ему с детства фонологические и грамматические трафареты и словарный репертуар, хотя в данной сфере для новации открыт безграничный простор комбинаторики. Но возможность новации во многих сферах истории культуры была крайне стеснена репродукцией или даже сводилась к нулю. В частности, репродукция почти безраздельно царила веками во множестве отраслей труда: археология имеет дело с огромными сериями повторяющих друг друга изделий и орудий. Это не продукт врожденной инертности психики. Дай только волю, и всякий вылепил бы из глины, выдолбил из камня, отлил из металла множество неповторимых (однако и лежащих вне истории культуры) новинок. Нет, эта шаблонность – средство недопущения вольничания; вместе с заданной формой изделия задано и определенное поведение в трудовом цикле, в отношениях с другими. В хоре, в коллективных действиях, в передаваемом из уст в уста эпосе репродукция полностью исключает новацию иногда в силу одновременности, синхронности повторения друг друга, иногда в силу обязательной точности воспроизведения во времени.

Вместе с тем репродукция и тем самым трансляция всевозможнейших элементов культуры формирует отличие «нас» от «них». А «мы», как уже сказано выше, – это поле доверия, иначе говоря, поле, где максимально устранено недоверие и, следовательно, дей-

ствует суггестия. Сама невозможность не повторять есть явление, лежащее целиком в поле суггестии.

Контрсуггестия подавляется также другими психологическими средствами усиления чувства принадлежности к «мы». С одной стороны, огромный ассортимент средств служит для активизации ощущения контакта и общности. Может быть, простейшее из них – улыбка. Значительно более высокие ступени – общий смех, общая радость, безудержное веселье (эйфория). Это – атмосфера психического притяжения, активизации симпатии. Во всей истории в формировании чувства «мы» огромную роль играли угощения, пиры, праздники, подарки. Могучим активатором этих ощущений являлись никотин и алкоголь – совместное курение и совместное опьянение. С другой стороны, столь же интенсивно действовали средства отлучения от психического «мы», т. е. отбрасывание человека в круг чего-то «ненашего» (экскоммуникация). Это опять-таки улыбка, смех, хохот, – но уже в смысле насмешки, всяческие средства пристыживания и осуждения, изоляции от контактов.

Однако здесь самое подходящее время в более общем виде подытожить постулированное выше отождествление ноля суггестии с любым замкнутым «мы» (социально-психической общностью). Наблюдения, проведенные над детьми, показали, что при максимальной изолированности группы от среды, т. е. если связь группы со средой приближается к нулю, соответственно внутри группы возрастает то, что не совсем точно называют «убеждаемостью» (по данным А. У. Хараша): этим словом обозначают возможность «убедить» детей одновременно в каких-либо двух несовместимых друг с другом мыслях. Это как раз фундаментальный признак суггестии.

Распространяя этот тезис на общественное развитие, можно сказать, что всякая замкнутость – родовая, семейная, племенная, этнокультурная, культовая и т. д. – в истории служила на пользу суггестии. Если бы замкнутость в том или ином из этих случаев оказалась абсолютной, т. е. разомкнутость – нулевой, то в соответствующей общности полностью царил бы суггестия. Но такова была лишь тенденция – одна из двух противоборствующих тенденций. В первобытном обществе взаимное обособление локальных, родственных и этнических групп особенно эффективно обеспечивало максимум суггестии, затрудненность контрсуггестии. Но и

в обществе нового времени национализм или религиозная нетерпимость неизменно служили общественной формой, обеспечивавшей максимально высокий коэффициент внушаемости и падение коэффициента контрсуггестии.

Полностью в царство контр-контрсуггестии мы вступаем с понятиями принуждения и убеждения. Убеждение имеет место там, где нет принудительности власти, т. е. где налицо независимость.

Принуждение может быть как физическое, посредством насилия, так и психическое – с помощью авторитета. Однако и физическое насилие, например в эпоху рабства, не следует понимать по аналогии с болевым или устрашающим воздействием на животных. Поведение человека в такой гигантской степени детерминировано словесными импульсами, что насилие само по себе мало к чему могло бы его побудить. Насилие у раба подавляет непослушание, сламывает механизм контрсуггестии и тем обнажает его для повелений. Насилие срывает с людей то, чем они укрыты от покорности. Тогда им остается быть покорными. При этом насилие имеет ряд градаций: глубже всего умерщвление, вернее, угроза смерти; причинение боли, истязание, лишение возможности двигаться – сковывание, связывание, заключение; лишение материальных условий жизни и благ – экспроприация, разорение. Все это есть физическое принуждение, призванное парировать непослушание либо самого пострадавшего, либо свидетелей постигших его страданий.

Другое проявление власти – воздействие силой авторитета. Авторитет правителя, лидера, вождя, старейшего, органов власти, правящих групп и классов на протяжении тысячелетий человеческой истории есть блокада несогласия, блокада непослушания, блокада непокорности. Этот авторитет поддерживался и насилием, и верой. Власть, с одной стороны, олицетворяла данное «мы», с другой стороны, противостояла ему как недосыгаемая и тем более неоспоримая, чем более она была несменяемой. Авторитет был окружен не только силой оружия, но святостью и священностью: все, что относится к нему, расположено в координатах веры, доверия, исключенного недоверия. От порога писаной истории источники авторитета стали уже все в большей мере переносить на абсолютно недосыгаемую власть божеств или божества. Психологической сутью веры всегда оставалось принятие неких слов без малейшего противодействия. Соответственно эти слова не должны и не могут

проверяться ни опытным, ни логическим путем, и это выражено в самом их содержании: они неясны, в пределе они обязательно тяготеют к чуду и к абсурду.

Противоположность принуждению – убеждение. В известном смысле оно тоже есть принуждение, такое, которому уже ничто не может противостоять. Убеждение тоже снимает покровы, за которыми человек мог бы укрыться от силы, чужого слова. Но оно делает его покорность добровольной и созидательной: «Твои доводы меня покорили». Однако убеждение, как и принуждение, в свою очередь можно разделить на два вида: убеждение донаучными аргументами, в том числе ссылками на земные и неземные авторитеты, и убеждение средствами науки – фактами, поддающимися проверке, и логикой.

Первый путь убеждения почти безраздельно господствовал в древней и средневековой истории. Колоссальной силы оружие в его распоряжении – письменная речь, письменность. Ее психологическое отличие в том, что на нее нельзя ответить – она односторонняя. С источником этой речи невозможно спорить, ибо это либо царь или предок, оставивший потомству высеченные надписи, либо боговдохновенный пророк или сам бог, либо автор, превзошедший других в тех или иных знаниях и исчезнувший за закрывшим его занавесом папируса, пергамента, шелка, бумаги. Очень долгие века для неграмотных письмена были тождественны абсолютно непрекаемой и вечной истине, да и среди грамотных немногие отваживались противопоставить их друг другу. Но письменная речь чем дальше, тем больше развивала сам аппарат мышления: она привела к подлинной грамматизации речи, к кодификации правил языка и лексики. Письменная речь, служившая для подавления всякого сомнения в слове, всякого непослушания ему, в конце концов содействовала развитию критики, проверки, опровержения и, следовательно, рождению высшей формы убеждения – убеждения объективной истинностью.

Убеждение, научное мышление – синтез контрсуггестии и суггестии

В чем же неодолимость убеждения объективной истинностью – этого единственного в своем роде вида суггестии? Ответ на первый взгляд может показаться странным: в том, что при этом человек

убеждает самого себя. Логика говорит, что в конечном счете абсолютно убедительно только то, что абсолютно ясно, т. е. выступает как очевидность, следовательно, как непосредственный личный опыт самого человека. Убеждение состоит в точном отождествлении нового с тем, что человек уже знает, как бы в выведении нового из признанного им ранее за истинное, либо же посредством предъявления нового его зрению и другим органам чувств – его первосигнальным средствам отражения действительности. Поэтому наблюдение (в том числе эксперимент) и логика составляют два – и только два возможных – средства действительного, т. е. научного, доказательства истины. Наблюдение обогащает знание; логика, если она идеально строга, намертво приклеивает высказывания и мысли к тому, что уже составляет убеждение человека. Это создает иллюзию, что акт познания чисто индивидуален, принадлежит мышлению отдельной личности. Акт убеждения зиждется на том, что убеждаемому нечего противопоставить некоей мысли (хотя бы и возникшей в его собственной голове), так как он не может применить фильтр недоверия (настороженность к «чужому») к самому себе. Все остальное, касающееся механизмов строго научного доказательства и тем самым убеждения, читатель может найти в специальной литературе по логике.

Однако в истории эта предельная, высшая форма контр-контрсуггестии, иначе говоря, суггестии, восстановленной в строгих условиях, никогда не была единственной, да и в мире современного человека она переплетена со всеми другими простыми и сложными формами социально-психических отношений. Мы можем лишь, исходя из опыта всемирной истории, экстраполировать прошлое, настоящее в будущее: из всех средств контр-контрсуггестии будет все более оставаться только одно, в пределе останется только одно – научное убеждение. Высказывая это, мы тем самым должны предполагать, что на другом конце истории, т. е. предыстории, в общении людей, в их психике безраздельно царило нечто противоположное. Идея эта отчасти не нова. Многие этнологи, такие как Дюркгейм, Леви-Брюль, Фрэзер, некоторые лингвисты, такие как Марр, конструировали свое представление о первобытном мышлении в известной мере по принципу противоположности современному опытно-логическому мышлению. Правда, Леви-Брюль к концу жизни отказался от самой глубокой и цен-

ной стороны своей теории пралогического мышления как характеризующего наиболее удаленные от нас ступени человеческого прошлого, а провозгласил его всегда присущей человеку второй, иррациональной, мистической стороной его духовной жизни. Здесь верно лишь то, что эти древнейшие формы психики снова и снова возвращаются в новом, осложненном виде при наличии благоприятных исторических обстоятельств, превращая и высокие, поздние духовные комплексы в «диалог», вернее, в рафинированный синтез древнего и нового. Но Леви-Брюль отказался от самой мысли, что история человечества есть и его внутреннее изменение, вернувшись к неподвижному человеку, якобы от века сотканному из одних и тех же двух нитей. Если мы хотим открыть двери для применения всего сказанного выше о суггестии, контрсуггестии и контр-контрсуггестии к истории, мы должны даже не просто принять указанную схему, в том числе раннего Леви-Брюля, но еще и расширить ее: где-то на утренней заре или даже в предутреннем тумане человеческой истории действовал простой механизм суггестии, затем появились и богато расцвели разные формы его отрицания и отрицание отрицания, а впереди – прогнозируемая монополизация социально-психических взаимодействий научным убеждением.

Если так понимать развитие социально-психических отношений в истории, то ему должно соответствовать развитие инструментов и приемов мышления, т. е. в широком смысле – форма логики. Ведь чистая суггестия, как мы говорили, тождественна навязыванию организму таких действий, позже – таких представлений, которые по определению противоречат «здравому смыслу» этого организма, его предшествующему опыту и непосредственным первосигнальным стимулам. Значит, начальная точка мышления нелогична и антилогична. А долгий дальнейший путь – не только превращение суггестии в свою противоположность, но и превращение абсурдного мышления в свою противоположность (Поршнева 1968б).

Любопытно проследить соотношение суггестии и мышления в онтогенезе. Эксперименты проводились крупнейшим советским психологом Л. С. Выготским (совместно с Л. С. Сахаровым) и в его широком теоретическом осмыслении приобрели значение своего рода демонстрации культурно-исторической теории мышления. Л. С. Выготский предъявлял испытуемым для классифицирования,

т. е. присоединения друг к другу по сходству, геометрические фигуры разной расцветки, формы и размера. В результате этих, как и некоторых других, опытов он пришел к выводу, что в онтогенезе мышления формирование понятий проходит пять последовательных ступеней (Выготский 1956: 148–212; 1960; 1931; Сахаров 1930).

1. В раннем, дошкольном возрасте мышление детей оказалось нисколько не подчиненным объективной, сколько-нибудь существенной связи между сочетаемыми фигурами. Дети следовали только команде: «Положи вместе подходящие предметы» – и выполняли ее в том странном смысле, что клали вместе предметы, не имеющие объективной существенной связи. Иначе говоря, «подходящесть» состояла только в том, что ребенок клал их вместе: он как бы создавал их «подходящесть» во исполнение команды и вопреки наглядности. Выготский называл это «синкретизмом» раннего детского мышления и указал на его полную субъективность, но я бы скорее подчеркнул, что ребенок соединял именно непохожие друг на друга предметы. При таком истолковании опыта отпадает возражение Л. В. Брушлинского: если начальное мышление ребенка субъективно, значит, концепция Л. С. Выготского несовместима с материалистической теорией отражения (Брушлинский 1968). Но ведь и фотографический негатив является отражением, и даже такой мысленный «негатив», в котором были бы противоположны действительности не только свет и тень, но и все остальные признаки объекта, можно назвать отражением по противоположности; иначе говоря, формирование нервного решения (если это не просто случайность, проба, ошибка), формирование «нелепости» есть уже отражение, поскольку оно отталкивается от какой-то «лепости». Без словесной команды, посредством первосигнального подкрепления, ребенок ведь легко дифференцирует и ассоциирует предметы.

2. В дошкольном возрасте в эту классификационную операцию детей начинает вмешиваться кое-что от объективной связи предметов. Но как странно! Ребенок ассоциирует только пару, а уже третий предмет присоединяет по другой ассоциации с одним из первых двух и т. д. Например, он присоединяет к кругу одного цвета круг другого цвета, к последнему – квадрат сходного размера, к нему – треугольник того же цвета, хотя бы и другого размера и т. д. Выготский назвал это мышление комплексно-синтетическим (иначе – ассоциативный комплекс, комплекс-коллекция, цепной ком-

плекс, диффузный комплекс). Жан Пиаже называет это же «понятиями-конгломератами», однако именно «понятие» здесь еще полностью отсутствует: сочетание двух предметов – уже невольное сотворение «подходящести» во исполнение команды, но и не понятие, а исполнение команды с минимальнейшим предметным основанием, т. е. не абсолютная суггестия.

3. В школьном возрасте, до 11 лет включительно, развиваются и круг связей между группируемыми предметами, и их расчленение на признаки – анализ. Это – «предпонятия», или «потенциальные понятия». Они все же весьма необъективны, и особенно характерно, что синтез в них заметно обгоняет анализ. Это можно истолковать в том смысле, что момент суггестии все еще превалирует над моментом контрсуггестии или по крайней мере они равновелики.

4. У подростков 12–14 лет появляется понятийное мышление. За это говорит ряд логических критериев. И в то же время Выготский с полным основанием противопоставляет типичные для этого возраста «житейские», или «спонтанные», понятия научным понятиям. Можно было бы сказать иными словами, что эта ступень соответствует философско-психологической категории «обыденное сознание» (Ойзерман 1967). При всей подготовленности на этом уровне перехода к научным понятиям этот переход в то же время – важнейший скачок.

5. Скачок совершается со вступлением в юношеский возраст, но тем самым – в зрелость, во взрослость. Научные понятия отвечают описанной выше категории убеждения или доказательства. Они вполне опираются на мир и свойства объективных явлений. Оперирование этими научными понятиями настолько отличается от понятий житейских, или спонтанных, что эту пятую ступень по праву можно рассматривать как отрицание всего предшествовавшего пути развития понятий. Это соответствует тому, что выше названо предельной тенденцией контр-контрсуггестии.

Конечно, эти опыты и эта схема Л. С. Выготского – не более чем иллюстрация, весьма специальная, тем более что она относится к онтогенезу, который ни в коем случае не повторяет последовательных ступеней всемирно-исторического процесса. Ведь в развитии ребенка психолог имеет дело с отсутствием или созреванием различных нервно-мозговых структур, тогда как в истории со времени появления *Homo sapiens'*а мозг взрослых людей оставался

одинаковым. С другой стороны, на всех пяти стадиях для подачи команды или инструкции используются слова и понятия современной человеческой речи, а не те, которые качественно смещали друг друга в ходе истории. Однако, говорил Выготский, хотя взрослый и ребенок при этом пользуются одним и тем же словом, его психическая функция у того и другого все же совершенно различна, и поэтому эксперимент методологически правомерен. Повторяю, приведенные наблюдения Выготского – совершенно частный пример, отнюдь не ориентированный прямо на нашу тему. Всюду выше увязка его с вопросами внушения принадлежит мне, а не Выготскому.

Другие авторы констатировали другие ступени развития тех или иных свойств в человеке. Недавно Д. Б. Эльконин, полемизируя с Ж. Пиаже, предложил глубоко продуманную периодизацию развития человека в раннем детстве, детстве и отрочестве с точки зрения последовательных циклов усвоения и присвоения индивидом окружающей культуры (Эльконин 1968). Получилась схема трехступенчатого спиралевидного движения. Другие авторы ограничиваются двухэтажной схемой развития тех или иных функций психики (Лурия 1971). Однако я выбрал в качестве примера пятичленную схему развития понятий Л. С. Выготского, ибо ее, пожалуй, легче ввести в круг очень разнородных примеров диалектики превращения противоположностей через среднее трехчленное звено. Получаются «пятичленки», характерные для некоторых процессов развития. Это не упрощение, просто есть отдаленнейшая логическая параллель в самом законе развития чего-то в свою противоположность через посредство промежуточного этапа, который в свою очередь состоит из трех диалектических уровней развития (Поршнев 1969а). Есть что-то небезынтересное и для теорий историка в том мосту, который мысль Выготского перекинула между берегом раннедетских операций, противоположных понятию, и берегом научных понятий – с помощью трех пролетов рождения понятий. А именно: эта схема выпукло напоминает нам о полной противоположности между суггестивной алогичностью и научными понятиями. Переход от одного к другому протекает совсем по-разному и в развитии ребенка, и в истории общественных формаций. Однако такой узколабораторный экспериментальный вывод, что в среднем звене (из пяти) операции синтеза опережают анализ –

разве не напоминает это что-то существенное из психологии среднего звена пяти формаций, т. е. из психологии феодальной эпохи? В двух рядах – онтогенетическом и филогенетическом – лишь то действительно схоже, что высшим уровнем и там и тут служит научное мышление. С помощью этой предельной точки можно судить обо всей предшествующей траектории.

Историк вправе прогнозировать: 300-летний непрерывный и ускоряющийся прогресс науки и ее распространение вширь на мышление сотен миллионов нынешних людей предвещает относительно скорую победу научного мышления, т. е. доказательного и убедительного мышления, над всеми прежними формами. Спросим себя еще раз: вправе ли мы трактовать этот факт и этот прогноз в категориях истории внушения и его последующих трансформаций? На первый взгляд может представиться, что доказательное и убедительное мышление лежит вне плоскости явлений суггестии. Все протекает в отдельной человеческой голове, и люди обмениваются между собой лишь послылками или продуктами этой деятельности. Но подойдем к делу иначе: от истины, транслируемой от человека к человеку, некуда уйти и укрыться. Сила убеждения неодолима и в этом смысле автоматична. Это и значит, что она – все та же неистребимая сила внушения, но теперь обошедшего все оборонительные препоны. Она только потеряла при этом облик внешней силы – людского, социального отношения. Незачем внушать то, что человек сам может найти, – достаточно облегчить его поиск. Межиндивидуальный акт внушения как будто исчезает, тонет в индивидуальном мозге. Да, но только потому, что научные понятия, научные заключения внутренне являются либо возражениями, либо капитуляцией перед возражениями.

Вдумаемся в психологическую сторону того, что называют «неумолимость» истины, аргументов, доводов, фактов. Почему «неумолимость», кто и о чем умоляет? Истина обязательна, принудительна. Пусть рассуждение протекает внутри человека – человек из всех голосов обязан покориться лишь голосу разума, когда он воплощен в данных науки. От научного доказательства и убеждения ему не только некуда или нечем, но и незачем укрываться, – он перед нею гол более, чем в самом глубоком гипнозе. Но тем более категория научного доказательства подразумевает категорию научного опровержения. Для психологии эта негативная сторона

логики особенно важна и интересна. Субъективно всякому акту познания истины сопутствует некое отречение, некое «оказывается»: оказывается, прежнее представление было неверным. Либо обнаруживается и восполняется пробел, неведение, либо исправляется прежнее мнение, заблуждение. Опровержение предполагает сначала мысль о сомнительности, далее – о ложности чего-то. Развивающееся опровержение состоит не только в отклонении чьих-то доводов и фактов, но и в обязательном противопоставлении других доводов и фактов, поэтому опровержение становится уже безличным, не адресованным прямо какому-либо предшественнику. Мало того, развертывание своих доказательств поворачивается теперь против будущего возможного оппонента: доказывающий старается не оставлять уязвимых мест – он проверяет свои аргументы, ставит контрольные опыты, ищет добавочные факты.

Как видим, научное мышление незримо состоит из гигантской неутихающей канонады наступления и обороны. Пусть противник – мнимый. Это идеально. Но он неминуемо появится во плоти, если о нем забудут. Поэтому в логике видное место занимает систематика и теория ошибок – для опровержения и защиты от опровержения. Однако можно заглянуть и в более глубокий пласт пользования научными понятиями. Среди суждений особое место занимают так называемые отрицающие суждения – логики и философы не раз возвращались к их чрезвычайной интеллектуальной природе. Это есть по форме и по сути отклонение чужой мысли. Эта возможность, с точки зрения психолога, всегда включена в ткань мыслительного процесса. Отрицающие суждения всегда, хоть и в скрытой форме, участвуют в потоке умозаключений и доказательств.

Итак, у логика есть психологическая сторона, которая в свою очередь в значительной степени принадлежит социальной психологии. Научное доказательство – это выявление, вылавливание, отбрасывание любых элементов низших форм социально-психического воздействия одних людей на других: простой суггестии, разных контрсуггестий, любых средств контр-контрсуггестии, – кроме данного. И вот, соответственно, в наше время меняется структура сознания в массах людей, живущих на Земле: расширяющееся включение научных понятий и операций увеличивает равновесие внутри человека, он охотно подчиняется науке, предпочитает подчиняться только ей, ибо она – защита от всех остальных подчинений. Неодолимая сила распространения марксизма –

в его научности. Напрасно западные марксологи противопоставляют друг другу «гуманистскую» и «сциентистскую» (научную) стороны марксизма и превозносят первую в ущерб второй. Притягательность марксизма для бесчисленного количества людей на нашей планете и в том, что он применяет к людям и их общественной жизни детерминизм, т. е. единственно научный способ объяснения. Напротив, все виды антимарксизма лишь наукообразны, и люди в конце концов разгадывают их внутреннюю связь с религиозным, донаучным мышлением.

Научное мышление глубочайшим образом нерасторжимо сочетается с идеей человечества. Доказательство адресуется не кому-либо, а вообще человеку. Наука, следовательно, исходит из презумпции, что все люди принципиально и существенно одинаковы – именно своей способностью к правильному мышлению. Отсюда прогноз: развитие научного убеждения, понемногу становясь единственным способом влияния одних людей на других, тем самым все более соединяет их в единое человечество. В наши дни человечество – это уже не собирательная идея, а крепнущая в сложной борьбе реальность. Возникает социально-психологическая загадка: если всякая общность, всякое «мы» сознает себя и конституируется через сопоставление с каким-то «они», то кто же «они» по отношению к этой рождающейся сверхобщности – человечеству? Фантасты отражают эту умственную потребность: они создают воображаемых взезных «братьев по разуму» или ужасных носителей инопланетной неорганической жизни. Но ничто не подтверждает этих снов. Какова же действительно разгадка, кто же «они» для становящегося единым человечества? Только древнейшая стадия его собственного прошлого (Поршнева 1969б). Вместе с тем – и следы отдаленнейшего прошлого в настоящем. Если же перевести это на язык социальной психологии, то «они», «чуждое» для научного мышления поднимающегося человечества, – это как раз все явления суггестии (порождения предыстории), кроме единственного, которому история оставила место, т. е. кроме убеждения, доказательства, науки.

Вряд ли нужно очень много слов, чтобы резюмировать основные выводы. Труд человека предполагает такой решающий компонент, как целеполагание, которое немислимо вне второй сигнальной системы. Целеполагание может носить или внешний характер (команда), или интериоризованный (намерение, замысел). Истори-

ческое развитие целеполагания совершалось по хорошо знакомой психологам формуле «извне – внутрь». Первый член, «извне», сам предстает как довольно сложный психофизиологический механизм, взятый как исходный объект данной статьи. На уровне верхнего палеолита, ранних неантропов шло формирование явления суггестии – исходной функции второй сигнальной системы. Но едва сформировавшись, она с необходимостью индуцирует собственную противоположность – контрсуггестию в ее разнообразных формах, проявляющихся в ходе развития первобытного общества и на заре классовых цивилизаций. В классово антагонистических обществах получили могучее развитие средства контр-контрсуггестии – насилие, вера, доказательство. Только последнему из них принадлежит будущее.

Литература

Бехтерев, В. М. 1908. *Внушение и его роль в общественной жизни*. СПб.: Изд-во К. Л. Риккера.

Брушлинский, А. В. 1968. *Культурно-историческая теория мышления*. М.: Высшая школа.

Вольперт, И. Е. 1966. *Сновидения в обычном сне и гипнозе*. Л.: Медицина.

Выготский, Л. С.

1931. *Педология подростка*. М.; Л.: Изд-во БЗО МГУ.

1956. Мышление и речь. Гл. V. Экспериментальное исследование развития понятий. В: Выготский, Л. С., *Избранные психологические исследования*. М.

1960. *Развитие высших психических функций*. М.: АПН РСФСР.

Глезерман, Г. Е. 1960. *О законах общественного развития*. М.: Госполитиздат.

Долин, А. О. 1962. *Патология высшей нервной деятельности*. М.: Высшая школа.

Звегинцев, В. А. 1968. *Теоретическая и прикладная лингвистика*. М.: Просвещение.

Зуев, И. Е. 1969. *Объективное и субъективное в познании и практической деятельности*. М.: Мысль.

Клаус, Г. 1967. *Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ языка* / пер. с нем. Н. Г. Комлева. М.: Прогресс.

Кон, И. С. 1966. *Личность как субъект общественных отношений*. М.: Знание.

Кузьмин, Е. С. 1967. *Основы социальной психологии*. Л.: ЛГУ.

Куликов, В. Н. 1965. Вопросы психологии внушения в общественной жизни. В: Колбановский, В. Н., Поршнев, Б. Ф. (ред.), *Проблемы общественной психологии*. М.: Мысль.

Левин, М. Г. (ред.) 1951. *Происхождение человека и древнее расселение человечества (Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия.)*: сб. Т. XVI. М.

Леонтьев, А. А. 1967. *Психолингвистика*. М.: Наука.

Лурия, А. Р.

1963. *Мозг человека и психические процессы*: в 2 т. М.: АПН РСФСР.

1969. *Высшие корковые функции человека*. М.

1971. *Психология как историческая наука*. М.

Лурия, А. Р., Хомская, Е. Д. (ред.) 1966. *Лобные доли и регуляция психических процессов*. М.: Изд-во МГУ.

Маркс, К., Энгельс, Ф. *Соч.* Т. 23. 2-е изд. М.: Госполитиздат.

Ойзерман, Т. И. 1967. *Философия и обыденное сознание. Вопросы философии* 4.

Парыгин, Б. Д. 1967. *Социальная психология как наука*. 2-е изд. Л.: Лениздат.

Платонов, К. И. 1962. *Слово как физиологический и лечебный фактор*. 3-е изд. М.: Медгиз.

Поршнев, Б. Ф.

1965. *Элементы социальной психологии*. В: Колбановский, В. Н., Поршнев, Б. Ф. (ред.), *Проблемы общественной психологии*. М.: Мысль.

1966. *Социальная психология и история*. М.

1968а. «Мы и они» как конструктивный принцип психической общности. *Материалы III Всесоюзного съезда Общества психологов*. Т. 3. Вып. 1. М.

1968б. Антропологические аспекты физиологии высшей нервной деятельности и психологии. *Вопросы психологии* 5: 17–31.

1969а. Периодизация всемирно-исторического прогресса у Гегеля и Маркса. *Философские науки* 2.

1969б. О начале человеческой истории. В: Гулыга, А. В., Левада, Ю. А. (отв. ред.), *Философские проблемы исторической науки*. М.: Наука.

1970. Функция выбора – основа личности. *Проблемы личности: Материалы симпозиума*. Т. 1. М.

Сахаров, Л. С. 1930. О методах исследования понятий. *Психология*. Т. III. Вып. 1.

Соколов, А. Н. 1968. *Внутренняя речь и мышление*. М.: Просвещение.

Софин, В. Ф. 1970. Самооценка и взаимооценка в зависимости от внушаемости. *Вопросы психологии* 1: 90–108.

Тауготт, Н. Н. и др. 1957. *Очерки физиологии высшей нервной деятельности человека*. М.

Чагин, Б. 1968. *Субъективный фактор. Структура и закономерности*. М.: Мысль.

Чуприкова, Н. И. 1967. *Слово как фактор управления в высшей нервной деятельности человека*. М.: Просвещение.

Шерковин, Ю. А. 1969. Убеждение, внушение и пропаганда. *Вестник МГУ*. Серия XI. Журналистика 5.

Эльконин, Д. Б. 1968. Проблемы периодизации психического развития детей. *Материалы III Всесоюзного съезда Общества психологов*. Т. 1. М.

Moraze, Ch. 1967. *La logique de l'histoire*. Paris.

Morris, Ch. W.

1936. Semiotik and Scientific Empirism. *Actes du Congres international de philosophie scientifique*. Fasc. 1. Paris.

1946. *Sings, Language and Behaviour*. N. Y.: Prentice-Hall.

1967. *La logique de l'histoire*. Paris.